

Владимир Савич

# Бульвар Ностальгия



Роман в рассказах

Владимир Савич  
**Бульвар Ностальгия**

«ЛитРес: Самиздат»

2016

## **Савич В.**

Бульвар Ностальгия / В. Савич — «ЛитРес: Самиздат», 2016

Когда я появился на свет, отец мой уже окончил юридический курс местного университета и работал инспектором в областном отделе ОБХСС. И по сегодняшний день я не знаю расшифровки этой аббревиатуры. Что-то, связанное со спекуляцией и хищениями...

## Содержание

Табуретка мира	5
Встреча	11
Шпилька	18
Длинный петляющий путь	29
Колеса судьбы	34
Конец ознакомительного фрагмента.	38

# Владимир Савич

## Бульвар Ностальгия

### Табуретка мира

Когда я появился на свет, отец мой уже окончил юридический курс местного университета и работал инспектором в областном отделе ОБХСС. И по сегодняшний день я не знаю расшифровки этой аббревиатуры. Что– то, связанное со спекуляцией и хищениями.

Не знаю, был ли отец рад моему появлению на свет, но доподлинно известно, что на мою выписку из роддома он не явился. Спустя три десятилетия я так же не явился в роддом за своей дочкой (по всей видимости, это у нас наследственное), но это вовсе не значит, что я не был рад её рождению.

Напротив, рад, и люблю свою дочь! Храни её Господь!

Ну да оставим это! Рассказ ведь не о любви, он о музыке, точнее о гитаре, нет о табурете, а может быть о жизни!?!? Решать тебе, читатель, а мне– время рассказывать.

Итак, отец. Ну что отец! Отец постоянно был занят на службе: ловил, сажал, расследовал. Проводил облавы, выставлял пикеты, устраивал засады, называя это оперативной работой (оперативкой). Этой самой оперативкой он был занят с утра до вечера, прихватывая иногда и ночи. Все свое детство я думал, что отец у меня какой-то очень засекреченный разведчик, где-то между Рихардом Зорге и Николаем Кузнецовым!

Наши жизни пересекались крайне редко. Временами мне казалось, что я люблю своего отца, а иногда я его, страшно сказать, ненавидел. Наши отношения напоминали мартовские колебания термометра.

– Не грызи ногти. Не ковыряй в носу. Зафиксируй этот момент. Закрой рот. Я дам тебе слово – командным громким голосом требовал отец. Ртутный столбик падал за отметку ниже нуля.

– Опять со шкурами валялся, – кричала мать, стряхивая с его пальто сухую траву и хвойные иголки.

– Что ты мелешь! Я всю ночь провел в засаде! – тихим усталым голосом отвечал отец.

Слово «засада»– грозное и опасное само по себе, да еще произнесенное таким утомленным голосом, становилось просто героическим.

Я живо представлял себе, как отец лежит в мокром овраге в ожидании шкуры.

Шкура – небритый угрюмый дядька – бродит по ночному лесу, трещит валежником, грязно ругается и замышляет что-то гадкое, подлое, низкое, но тут выходит мой отец и с криком: «Попалась, шкура!» валит детину на землю, крутит ему руки и везет в отдел.

В такие моменты ртутная стрелка резко шла вверх.

Высшую отметку моего отношения к отцу термометр показал, когда он попал в автомобильную катастрофу. Ходили слухи, что в день аварии отец был со «шкурой», но я верил в засаду. Врач дал ему всего одну ночь жизни. Но отец выжил и вскоре уже снова требовал, чтобы я не грыз ногти и не ковырял нос.

Отметки абсолютного нуля и сожалений по поводу врачебной ошибки они достигли, когда я стал битником. Я даже помню фразу, сказанную отцом на мой жизненный выбор.

– Лучше бы ты стал бандитом!  
– Почему? – удивился я.  
– Потому что в хипаках нет ничего человеческого!  
– Поясни!  
– А что тут пояснять. В человеке все должно быть прекрасным. А у хипаков что? Патлы, буги-вуги и эпилептические припадки.  
– Почему эпилептические?! – воскликнул я.  
– Потому что видел ваши танцы, – ответил отец.  
– Пусть в них нет ничего прекрасного. Зато у них интересная и насыщенная жизнь! – патетически воскликнул я.  
– Жить нужно как Павка Корчагин, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы!  
– Корчагин – анахронизм. Слушай Ричи Блэкмора!  
– Пройдет пару десятков лет, и твой Блекмордов станет для твоих детей таким же анахронизмом!  
Отец оказался прав. Для моей дочери Павкой Корчагиным служит Nick Carter из «Backstreet Boys».  
– Ты напоминаешь мне «изи дей херд найт» («easy day hard night», «тяжелый вечер легкого дня»), – ответил я отцу, перефразировав на свой лад название «битловской» песни.  
– Не выражайся! – воскликнул отец. Принимая, очевидно, английское «hard» за русское нецензурное слово.  
Как всякий интеллигент во втором поколении, отец презирал жаргонизмы и крутые словечки.  
– Пока не поздно возьми за голову. Иначе тебя посадят, – сказал отец в заключение.  
Но я не послушал (в моем кругу слушать предков выглядело таким же анахронизмом, как и читать Н. Островского) и по-прежнему слушал «Deep purple», и всякую свободную минуту проводил с гитарой, пытаюсь сдирать импровизации с Р. Блекмора.  
– И на такой доске, – сказал ведущий городской гитарист Ободов, – ты хочешь взлабнуть Блекмора!?  
Я промолчал.  
– Хочешь Блэкмора лабать, страакастер должен мать! – и Обод вытащил из шкафа кремового цвета «Фендер страакастер».  
– Можно? – попросил я.  
– Уно моменто, – ответил Обод и врубил гитару в усилоч. Пальцы у меня задрожали, лоб покрылся испариной. Чуть успокоившись, я выдал гитарный импровиз композиции «Highway star». Клянусь, мне показалось, что она прозвучала лучше оригинала.  
– Не хило! – присвистнул Обод.  
– Сколько тянет такой агрегат? – поинтересовался я, обводя взглядом музыкальное хозяйство Ободова. Сумма, названная им, равнялась цене последней модели «Жигулей».  
Тогда я стал мастерить гитару самолично. Кое-что я выпрашивал, кое-что воровал, кое-что покупал, а кое-что выменивал. Кроме того, стал ходить на разгрузку вагонов на местный силикатный (клеевой) комбинат. Комбинат «сяриловка», как называли его в городе, представлял собой вороха гниющих костей, армады наглых крыс и мириады жирных шитиков...

Лучше всего у меня получалась гитара. Корпус я смастерил из цельного куска мореного дуба, выменянного на деревообрабатывающем комбинате за «пузырь «Лучистого». Гриф – от списанной школьной гитары. Фирменные звукосниматели я выменял на фарфоровую статуэтку. Статуэтка с моей фамилией всплыла на допросе фарцовщика Алика Кузькина.

– Покажи дневник, – попросил как-то удивительно рано вернувшийся со службы отец.

– Зачем? – спросил я.

– Я хочу знать, что у тебя по физике.

– Нормально у меня по физике!

– Почему по физике? – удивилась мать.

– Потому что он мастерит свои гитары из раскромсанных телефонов-автоматов! «Вот змей, а говорил, что фирменные» – ругнул я Алика Кузькина. – Понятно?

– Негодяй! – закричала мать, – как ты мог! – Было не совсем понятно, чем возмущена мать: воровством домашней статуэтки или распотрошением общественных телефонных автоматов.

– Сию же минуту вынеси весь этот битлизм из дома, – приказал отец.

– Я имею законную жилплощадь и право на собственность!

– Ну, тогда на основании ответственного квартиросъемщика вынесу я, – заявил отец и тронулся к моему музхозяйству.

– Не тронь, или я тебя урою, – мрачно пообещал я.

– Ах ты, Махно! Японский городской, ах ты, власовец! Хобот крученный! Советская власть с Гитлером справилась, а с тобой, битлаком, в два счета разберусь! – кричал отец, топча ногой записи «дипперполцев».

В книжном шкафу задрожали стекла, с полки упал и сломал себе голову пластилиновый Ричи Блэкмор.

– Что ты делаешь, – закричала мать, – я, между прочим, деньги на эти кассеты давала.

– Делают в штаны, а я перевоспитываю твое воспитание! Вырастила Махно! – Разобравшись с записями, отец приступил к гитаре. Я выпятил грудь и засучил рукава.

– Ты что на меня, советского офицера, руку вздумал подымать? Да, да, да я, я тебя... Да я з-з-з – знаешь ... Да я так их, их, их. Су, у, уб, бчиков крутил!

– Надорвешься! – сопел я под тяжестью отцовского тела

– Посмотрим, посмотрим, – заваливая меня в кресло. Послышался хруст ломающейся гитары.

Казалось, это хрустит не гитара, а весь мир, да что там мир, хрустела и ломалась Вселенная.

– Я тебе этого никогда не прощу, – плачущим голосом пообещал я отцу и сгреб под кровать гитарные ошметки.

– Ничего, ничего, – хорохорился победивший отец, – еще будешь благодарить!

– Пусть тебя начальство благодарит, а я уйду из твоего дома.

Квартиросъемствуй без меня! – и, громко хлопнув дверью, я выбежал на двор. Неделю я не ночевал дома. Дни проводил на берегу лесного озера, примыкающего к нашему микрорайону: здесь пахло молодой листвой и озерной тиной. Ночь коротал на чердаке: под ногами хрустел шлак, по ноздрям шибало птичьим пометом. Я осунулся, почернел, пропах костром, тиной и голубиным дерьмом. На восьмой день на меня был объявлен розыск. На

девятым, как отца Федора с горы, меня сняли с крыши и привели домой.

– На кого ты похож! – воскликнула мать.

– Je me ne suis pas vu pendant 7 jours – ответил я. («Я не видел себя 7 дней»)

– Ты шутишь, а я все эти дни не сомкнула глаз.

На деле все выглядело несколько иначе. Все эти дни между родителями возникал приблизительно такой диалог:

отец – Как ты можешь спать, когда твой ребенок неизвестно где?

мать – Нечего лезть в воспитание с такими нервами. Походит и вернется!

отец – Что значит походит! Где походит? Это же твой ребенок!

мать – Хорошенькое дело. Может, я поломала его гитару!? Может, я истоптала его записи!?

отец – Я поломал! Я и починю!

мать – Он починит! Не смешите меня, у тебя ж руки не с того места растут!

отец – У кого руки! У меня руки! Я, между прочим, слесарь 4 разряда!

мать, – Какой ты слесарь! Сколько ты им был? Ты же кроме как орать, сажать, да валяться в засадах, ничего не умеешь!

отец – Ты напоминаешь хер дей найт.

мать – Сам ты хер, а еще член партии!

Но вернемся в день моего возвращения.

– Отец все эти дни места себе не находил! – сообщила мать.

– Где, в засаде? – съязвил я.

– Зачем ты так, – мать грустно покачала головой. – Отец переживал, что так получилось. И гитару твою, между прочим, чинил.

В квартире и правда – стоял тяжелый запах столярного клея, живо напомнивший мне заваленный костями двор силикатного комбината. К нему примешивался хвойный канифольный дух.

– Сын, я был не прав, – сказал мне вечером отец.

– А с этим мне что делать? – я указал на гитарные ошметки.

– Я починю, слово коммуниста, починю! – твердо заявил отец. – Я уже, между прочим, столярный клей заварил и канифоли достал. Склеим! У нас руки не с того места, что ли, растут! Спаяем!

В доме закипела работа. Возвращаясь с работы, отец быстро ужинал и говорил:

– Пошли делать нашу гитару.

Месяц мы кропотливо выпиливали, выстругивали, долбили и паяли.

Пропахли стружкой, канифолью и столярным клеем. В наш с отцом лексикон вошли слова: долото, рашпиль, колок, порожек, мензура и струнодержатель.

Консультантом выступал скрипичных дел мастер Смычков! Отец пошел даже на служебное преступление, изъяв из вещественных доказательств,

хранившихся в его рабочем сейфе, звукосниматель от болгарской гитары

«Орфей». От этого звук нашего изделия получился мягкий, плавный, гладкий примиряющий звук, совсем не роковой, но, добавляя фуза и пропуская гитару сквозь ревербератор, я добивался нужного звучания. Остатки фанерного шпона, шедшего на гитарный корпус, мы пустили на кухонный табурет.

– Табурет мира! – объявил отец.

Единожды взошедший на скользкую тропу русского рока (самобытного, как собственно все русское) рискует сломать на ней свои конечности. Но таков уж наш русский путь: скользкий и опасный. Возможно, на этой тропе у него пробился родительский ген. Все может быть, потому что отец пошел на новое преступление и затребовал якобы для расследования, из обхэсовских

загашников все наличные записи «Диперполцев». Таким образом, был восстановлен и даже расширен мой музыкальный архив. Вскоре настала очередь изготовления усилителя и звуковой колонки, ну и соответственно, нового служебного преступления. Отец притащил из ведомственных подвалов лампы, транзисторы и 50-ваттный динамик. Добром этим, как утверждал отец, был забит весь ведомственный склад!

Через год отец мог запросто отличить «Битлов» от «Роллингов». Гитару Р.Блэкмора от гитары Д. Пейджа. Через два ездил со мной в качестве оператора на многочисленные халтуры, а еще через год явился на партийное собрание в джинсах и заявил, что рок есть прогрессивное течение и потребовал реформации социалистической законности!

После такого заявления отец был срочно переведен из органов во вневедомственную охрану. Будучи начальником охраны мясокомбината, отец по следовательской привычке разоблачил группу злостных расхитителей колбас и был вынужден выйти по выслуге лет на пенсию. Последние два года своей жизни он не работал, хранил у себя мой халтурный аппарат, и, сидя на «табурете мира», с надеждой глядел в окно в ожидании моего возвращения. Завидев машину, отец оживал. Оперативно расставлял аппарат, доставал квашенную по особому рецепту капусту, маринованные огурцы, полученную по пенсионному пайку работника МВД тонко струганную китайскую ветчину и хрустальные тонконогие рюмки.

– Не мешай, – ворчал он на протестующую мать.

– Но тебе нельзя! У тебя же два инфаркта.

– Отойди, ты напоминаешь мне хер дэй найт.

– Сам ты хер, хоть уже и не член партии.

На одной из «халтур» у меня украли «нашу» гитару. В последнее время старой гитарой я почти не пользовался, ибо имел уже приличную японскую доску, но в тот злополучный день с «японкой» что-то случилось, пришлось взять с собой старую самопальную гитару. Вечером, грузя аппаратуру в машину, я нигде её не нашел. Как я не увещевал работников общепита, чего только не обещал за возвращение инструмента, все было тщетно: общепитовцы непонимающе пожимали плечами и виновато улыбались.

Тогда на ноги был поднят весь городской музыкальный рынок, но это ничего не принесло. «Наша» гитара исчезла бесследно. А вскоре умер отец. Вышел за чем-то на кухню, а вернулся на моих руках, уже мертвым.

На дворе как раз свирепствовали ветры экономических реформ. Было пусто не только в магазинах, но и в бюро похоронных услуг. В канареечного цвета доме, где расположилась скорбная организация, кроме директора и нескольких не совсем трезвых личностей не было решительно ничего: ни кистей, ни венков, ни лент, ни даже гробов.

– Надо позвонить в органы, – посоветовал я матери.

– О чем ты говоришь! – воскликнула она. – Ведь его, по существу, уволили оттуда.

– Но, заметь, с ветеранским пайком, – привел я весомый аргумент.

– Ты думаешь, может что-то получится?

– Уверен! Тех, кого вчера увольняли, сегодня числят героями!

Я оказался прав! Органы выделили на изготовления гроба: доски, красный обшивочный материал и даже ярко-малиновые кисти. Вновь в мой лексикон вошли слова: долото, ножовка, рашпиль и стамеска...

Все, что осталось у меня от отца – несколько его черно-белых снимков, да оббитый шпоном табурет. Однажды встретившиеся на хитро сплетенных дорогах человеческих судеб, свидимся ли мы вновь? Глядя на «табуретку мира», уверен, что встретимся.

## Встреча

### 1

Чем дальше я удаляюсь от дней упорхнувшего детства, тем чаще снится мне мой старый окруженный стеной покосившихся сараев двор – место, где прошли лучшие дни жизни. Чем отдаленнее от меня улица, где я когда-то жил, тем явственней видится мне в ночных эмигрантских сновидениях скособочившаяся фанерная будочка киоска «Союзпечать» на её углу, из которой с завидной регулярностью в дни родительской полочки приходили ко мне книжки на лощеной бумаге.

Крутится дочь у навороченного «лазера» и ломается под новомодные хиты, а я смотрю на нее и вспоминаю, как стоял, раскрыв рот, дрыгаясь под звуки «босанов» и «шейков», что неслись из окон канувшего в лету ресторана «Плакучая ива».

Но странное дело: чем отчетливее вижу я старость, угрюмо глядящую на меня из мути зеркальных глубин, тем трудней мне разобраться, где заканчивается реальность детских воспоминаний и начинается придуманная мной же история о событиях минувших дней. Может вовсе и не существовал тот двор, который, исчезнув с лица земли, по-прежнему хранит мои следы? Может я никогда и не стоял у того ресторана и не слушал музыку давно уже не существующего оркестра?

Как безумно далеки те годы! Только сны, пожелтевшая фотография лопухого мальчугана в коротких штанишках, да стопка виниловых пластинок и связка выгоревших тетрадных листков – вот, пожалуй, и все, что осталось от детства. Но разве может размытый временем лист, или чудом сохраненная обложка школьного дневника служить веским аргументом в пользу реальности минувшего, если такая могущественная штука, как память, сомневается в его достоверности?

### 2

Мои музыкальные способности проявились рано и своеобразно. Так, например, разорвав очередную футболку, я, вместо того, чтобы изображать горе, нес её домой, горланя приятным дискантом модную в те времена песню (безбожно перевирая ее при этом): «Чья майка, чья майка...», – и сам же себе отвечал: «Моя!» Во дворе меня называли «наш Робертино Лоретти» и угощали пенкой от сливового варенья. Местная шпана звала меня «Магомаевым» и заставляла танцевать твист, собирая за это деньги с прохожих. Слава моя росла. Дошла она и до родителей.

– Наш мальчик обладает музыкальными способностями, – сказала как-то бабушка.

Почему это сказала бабушка, а не дедушка, или, например, родители? Ну, во-первых, у меня не было дедушки. Во-вторых, родителям всегда немножко не до детей, когда в доме есть бабушка. И, в-третьих – и это, пожалуй, главное -

женская душа, а тем более душа бабушки, обожающей своего внука, устроена таким образом, что может рассмотреть талант там, где другие видят только детское дурачество.

– И в чем же они заключаются, эти самые таланты? – недоуменно вскинули брови родители.

– Ну здравствуйте, приехали! Наш Боря уже давно имеет стабильный успех, а родители ни ухом, ни рылом.

– Правда? И что же это за успех? По математике?

Мои родители, занятые диссертациями, так редко бывали дома, что без конца чему-то удивлялись. «Как, у Бори выпал зуб?» «Как, Боря носит уже 33 размер?» «Как, у Бори скарлатина?» Теперь вот оказались еще и способности...

– И по математике тоже. Мальчик за деньги поет в подворотне, – ответила бабушка.

– Мама, как же вы допустили?

– Что мама, что мама, – защищалась бабушка. – В конце концов, вы же – родители. Взяли бы, да и поговорили с сыном, да направили его способности в нужное русло.

– А что, и поговорим! – закричал папа.

– А что, и направим! – поддержала его мама.

Весь этот разговор долетает за перегородку, отделяющую «салон» от маленькой комнатки, где за письменным столом сижу я, вислоухий мальчуган, и старательно насвистываю новомодный мотив песни «Королева красоты».

Вечером «Королева» сулит мне сигарету «Памир».

– Иди сюда, лоботряс! – кричит мне из-за перегородки отец.

– Гарик, поласковой, поласковой, это же твой сын, – просит бабушка.

Я прекращаю свистеть и с ангельским смирением вхожу в «салон».

– Слушай, лоботряс, – обращается ко мне папа. – Скажи, это правда, что ты поешь в подворотнях за деньги?

Я провожу рукой по вспотевшему лбу. Лоб у меня крепкий, высокий и совсем не трясется. «Отчего же тогда отец упорно называет меня лоботрясом?», – думаю я, и, переминаясь с ноги ногу, отвечаю: «Ну, если это можно назвать деньгами, то да, хотя...».

– Ну, вот и прекрасно, – не дает мне развить мысль отец, – за заработанные в подворотнях деньги ты с завтрашнего дня начинаешь развивать свои способности.

– Какие способности? – спрашиваю я, надеясь, что мне купят велосипед и отдадут в секцию велоспорта. А может быть, лук? Ведь лук – это так романтично, от него веет историями Шервудского леса.

– Музыкальные, – прерывает мои мечты отец.

– А что это значит? – удивленно спрашиваю я.

– Это значит, – говорит бабушка, – что мы купим тебе музыкальный инструмент, рояль, например, и ты будешь на нем учиться играть.

– Зачем мне музыкальный инструмент, тем более рояль? У нас его и поставить-то негде, – отвечаю я.

– Это не твое дело, где мы его поставим. Ты лучше скажи, когда ты станешь человеком, а не лоботрясом? – спрашивает отец.

Я провожу рукой по вспотевшему лбу и продолжаю мямлить:

– Я бы хотел развивать свои способности в секции стрельбы из лука или самбо.

– Выбрось это из своей головы. Пока я жива, никаких самбов и луков в доме не

будет, – заявляет мама, косясь при этом на электрический провод от утюга. Но в это время огромные настенные часы начинают клокотать, как проснувшийся вулкан, и громко бьют семь раз... Меня уже ждут слушатели...

### 3

Из пестрых лоскутков прошлого воскресают первые музыкальные инструменты, предложенные мне в освоение: отечественный баян «Тула» и германский трофейный аккордеон «Хофнер». Но «Хофнер» и «Тула» были отвергнуты мною с порога – во-первых, из-за громоздкости, во-вторых, из-за массовой распространенности.

– Нет, – решительно заявляю я, когда мы приходим в музыкальный магазин.

– Как нет? – восклицает отец. – Мы специально приехали сюда, с трудом вырвавшись из лаборатории. А ты, дубовая твоя голова, говоришь «нет»!

– Но почему нет, горе ты луковое? – спрашивает мама.

– Дети, ради Бога, потише, – умоляюще просит бабушка. – Вы же не в своей лаборатории.

– Это плебейские инструменты, – отвечаю я.

– Где ты нахватался таких слов, лоботряс? – говорит папа. – Плебейские! А знаешь ли ты, аристократ обалдуйевский, что инструменты эти стоят две моих кандидатских зарплаты?

Разъяснения не действуют. Будущее «музыкальное светило» пугает родителей тем, что не придет ночевать домой.

– Ну что я говорил – обалдуй. Чистый обалдуй, одним словом, форменный лоботряс! – кричит папа.

– Гарик, что ты говоришь, побойся Бога, ты же член партии, – умоляет папу бабушка. – Ребенок в поиске. Он ищет, а вы, как интеллигентные люди, должны ему помочь разобраться. Боря, ведь ты ищешь, правда? – допытывается бабушка.

– Конечно, Боря ищет! Ваш Боря только и делает, что ищет, как довести нас всех до инфаркта, – перебивает её мама и пытается отыскать среди магазинного инвентаря любимое орудие воспитания – электрический шнур от утюга.

– Глаша, как же так можно, это же и ваш сын, – кипятится бабушка. – Ну не нравится мальчику баян, по правде сказать, мне он тоже не очень нравится.

Баян – инструмент пьяных ассенизаторов. Другое дело – скрипка. Скрипка – инструмент интеллигентных людей. Правда, Боря? – обращается она ко мне. Я молча киваю своим вспотевшим лбом, и мы выходим из магазина.

Так в мою жизнь вошел некто Семен Ильич Беленкин, скрипач-виртуоз, первая скрипка местного музыкального театра. Он рассказывает мне о струнах, грифах, деках и тембрах, от него я узнаю, что Страдивари и Паганини – это не уголовные авторитеты нашего района, а некие загадочные итальянские мастера. С Беленкиным мы разучиваем баховский «Менуэт» и рахманиновскую «Польку». Семен Ильич доволен. Вскоре передо мной лежит партитура скрипичного концерта... У меня страшно болят пальцы, а на улице на меня подозрительно косится местная шпана.

– Слышь, Бориска, – останавливает меня местный хулиган Чалый, – ты, может, и не Бориска вовсе?

– А кто? – недоуменно спрашиваю я.

– Может, ты того, Барух?  
– Почему? – живо интересуюсь я.  
– Потому – очкарик и со скрипкой шляешься, – отвечает Чалый и, угрожающее поднеся свой огромный кулак к моим очкам, добавляет: – Гляди у меня, малый. От этих диких подозрений у меня перехватывает дыхание, и я чувствую, как бурый мартовский снег начинает проваливаться под моими ногами.  
– Хватит, довольно с меня того, что вы меня назвали Борей и надели на меня очки, – говорю я и кладу скрипку на стол.  
Бабушка плакала, мама не выдержала и огрела меня разок электрическим шнуром от утюга, папа как никогда громко кричал «лоботряс», а Семен Ильич глядел на грязные мальчишеские пальцы и горестно шептал: «Мальчонка, побойтесь Бога, вы же хороните талант».  
Но что в те счастливые годы какой-то там талант? Гораздо важнее было не загреметь в «Барухи». Родительские вздохи еще какое-то время подрожали подобно скрипичной струне и стихли.

#### 4

Школа, в которой я учился, была престижной (спецшколой, как их в ту пору называли). В ней изучали французский язык, французскую литературу, «французскую математику», «французские» физику и геометрию, оставив родному языку лишь общественные науки. Я предпочел общественные дисциплины и, как следствие, часто выигрывал многочисленные олимпиады и конкурсы. Как-то за победу в очередной олимпиаде я был награжден билетом на заключительный концерт мастеров искусств в местном Доме пионеров. Гремели ансамбли балалаечников. Торжественно звучала медь духовых оркестров, и звонкое детское сопрано благодарило родную Партию «за счастливое детство». Было скучно... От балалаечного треска разболелась голова, и я стал подумывать о бегстве...

– Шопен. Ноктюрн, – объявил конферансье. – Исполняет Эстер, – он на мгновение запнулся, – Шма, – конферансье заглянул в листок, – Мац... Шмуц... Шмуцхер... В общем, Шопен, – и, обречено махнув рукой, ведущий стремительно скрылся за кулисами. За ним, гремя домрами и попитрами, со сцены исчез квартет домристов. Освободившееся место занял огромный черный рояль. К нему подошла девочка. Была она так себе: серенькая юбочка, потупленный взгляд, стекляшки кругленьких очков: ни дать, ни взять – «гадкий утенок». Ну а какой еще может быть девочка с плохо выговариваемой фамилией? Но вот она поправляет свою юбочку, садится к роялю и... «гадкий утенок» превращается в таинственную незнакомку, играющую на струнах вашей души. Сказать, что я обомлел, что жизнь мою перевернула эта невзрачная девчушка, нет, этого не было, но какие-то смутные желания научиться так же ловко возмущать черно-белую фортепьянную гладь эта угловатая пианистка во мне пробудила.

Поделившись своими ощущениями, вызванными игрой «дурнушки», с родственниками, я, кажется, изъявил желание выучиться игре на фортепьяно. Не берусь с протокольной достоверностью описать все развернувшиеся в доме события, связанные с этим заявлением. Но хорошо помню, как сотрясали дом в те дни телефонные трели. Как кипели финансовые споры, а на кухне убегало

молоко для моей младшей сестры. Вскоре дебаты стихли, и в нашу небольшую гостиную въехало светло-песочное, под цвет выгоревшего канапе, пианино «Красный Октябрь». Вместе с ним в мою жизнь вошла пышная и ярко одетая учительница музыки Калерия Францевна Музаславская.

Мы учили гаммы и триоли. К шестому занятию Калерия Францевна стала утверждать, что из меня вырастет Святослав Рихтер. После этих слов отец перестал называть меня «лоботрясом», мать – посматривать на электрический шнур от утюга, а бабушка стала разговаривать со своими знакомыми так, как будто я уже выиграл фортепьянный конкурс им. П.И. Чайковского. Очень может статься, что так бы оно и было.

Но в то самое время, когда мы уже принялись за сонатины Черни, на город рухнул Рок (этот самый Рок и виноват в том, что вы сейчас читаете мой рассказ, а не слушаете фортепьянный концерт в моем исполнении). На улицах

появились хиппи. О, что это были за люди – синтез независимости и галантной нахальности! Джинсы, бусы, ленточки на голове. Время любви, цветов и, главное, громкой и независимой, как и её исполнители, музыки. При моей природной склонности к новизне и жизненному поиску нетрудно предположить, что мне захотелось походить на этих людей. Поддавшись этому зову, я тайком от родственников искромсал свои новые дачные техасы, присвоил мамины бусы и изрезал на головную повязку лучший папин галстук. – Я оставляю фортепьяно и посвящаю себя Хард-Року, – заявил я, стоя перед родителями в новом экзотическом наряде.

Вот это был удар, скажу я вам. Увидев, что осталось от галстука, папа схватился за сердце и молча рухнул на стул. Мама стала походить на аквалангиста, у которого прекратилась подача кислорода. Бабушка же, как ни странно, выглядела невозмутимой.

– Не надо кипятиться, – успокаивала она родителей. Ребенок ищет, в конце концов, в альтернативной музыке есть свой шарм. Ив Монтан, например. Гарик, ведь ты же любишь Ива Монтана? Папа молча кивнул головой. Через несколько дней у меня появилась электрогитара ленинградского производства и подержанный усилитель «Электрон». Пианино же оттащили в угол и накрыли шерстяным полосатым пледом. Изредка спотыкаясь о корпус «Красного Октября», отец недовольно бурчал: «Лоботряс». Но к тому времени я уже был «здоровым лбом», не боявшимся даже электрического шнура от утюга.

Вскоре скучную жизнь пылящегося в комнатной тиши пианино «Красный Октябрь» нарушила ворвавшаяся в нашу квартиру компания моих новых друзей.

Пока хлебосольный хозяин возился на кухне, смылившая в салоне московский «Дукат» компания подвергла жестокой экзекуции бедный «Красный Октябрь». Ужасающая картина открылась мне, когда я вошел в комнату. Содранный с инструмента зеленый полосатый плед шотландского производства тяжелым комком валялся в пыльном углу. Бесстыдно задранные пианинные крышки стыдливо смотрели на враждебный им мир, и на одной из них красовалась надпись: «Боня и Тоня были здесь».

Девственную белизну клавиш украшала смоляная дыра, а известный городской пластик Зис уже норовил помочиться на металлические внутренности «Красного Октября».

Я отчаянно запротестовал.

– Да ты что, Боб, может ты, брат, того, и не рок-ин-ролльщик вовсе? – ехидно спрашивал меня Зис, застегивая брючную молнию.

– Можешь думать, как хочешь, – решительно заявил я. Но писать ты будешь в унитаза!

– Peoples, линияем отсюда! – закричал Зис. Но народ предпочел бегству «Солнцедар».

После их ухода я долго пытался убрать следы рок-ин-ролльного нашествия. Но вечером позорная тайна была открыта – на ноте «до» малой октавы бесстыдно зияла никотиновая дыра. Никто не стал выяснять, кто были таинственные «Боня и Тоня», оставившие столь эпохальную надпись. Всем и без того было ясно, что сын связался с далекой от фортепьянной музыки и хороших манер компанией. Через несколько дней «Красный Октябрь» с помощью подъездных алкашей, братьев Синельниковых, перекочевал в соседскую квартиру Славика Лившица, а в первой половине 70-х вместе с новыми хозяевами и вовсе канул в неизвестность.

## 5

Подобно замысловатой импровизации минули годы. Они были разными, как клавиши на клавиатуре. Черными и белыми. Скандально мажорными и уныло минорными. Но неизменным было одно – мое стремление к новизне. Рок я поменял на джаз, джаз – на джаз-рок. Кроме этого я менял адреса, места учебы и работы, длину волос и ширину брюк. В конце концов, я поменял континенты!

Сегодня, вдалеке от тех мест, где я был юн, независим и свеж, меня уже никто, Боже мой, никто не называет лоботрясом и не нанимает мне музыкальных репетиторов. Как жаль!

Теперь я, старый, нудный и помятый жизнью человек, кричу малолетним детям «лоботряс, обормот, обалдуй» и кое-что из французской ненормативной лексики.

Несмотря на это, дети растут. И растут стремительно. Кажется, только вчера дочь училась называть меня «папой», а вот уже лежит передо мной её письмо к Санта-Клаусу: «Милый Санта-Клаус, подари мне, пожалуйста, на Рождество настоящее пианино».

«Это же в какие деньги выльется мне эта просьба?», – думаю я, засовывая письмо в карман.

Я уныло хожу с этим посланием по музыкальным магазинам. Любуюсь грациозными «Ямахами», важными «Болдуинами» и задерживаю дыхание у непревзойденных «Стейнвейев». Большие и важные, с поднятыми крышками, они напоминают огромных диковинных птиц, взмахнувших крыльями. Но с той жалкой мелочью, что звенит в моем кармане, все это черно-белое изящество дерева, кости и металла, увы, не про меня. Чужой на этом празднике музыкального совершенства, я разворачиваю свои башмаки и спешу в спасительные магазины вторых рук, на кладбища отслуживших свой век вещей. Долго и безуспешно брожу я среди неуклюжих комодов и «модных мебели» минувших эпох и стилей, пока не натыкаюсь на то, что ищу. Пианино стояло в дальнем углу магазина. Солнечный пыльный луч, пробившийся из маленького зарешеченного окна, безмятежно покоился на его

матовой поверхности. Пробравшись сквозь баррикады буфетов, столов, диванов, я оказался у инструмента и, пораженный, замер. Боже праведный, передо мной стояло мое пианино! Осторожно и ласково провел я пальцем по прожженному «до» малой октавы и, ни минуты не колеблясь, отдал задаток. На следующее утро светло-песочный «Красный Октябрь» перекочевал в мой дом. Три дня «пианинный доктор» возился у расстроенного нелегкой жизнью инструмента. Три дня вытаскивал он какие-то диковинные ключи, болты и деревяшки из своего смешного ридикюля. Три дня что-то натягивал и подтягивал, стучал молоточком и прислушивался к гудящим больным внутренностям старого пианино. Вволю намучив меня и «Красный Октябрь», «доктор» присел на велюровую банкетку и шопеновским «Ноктюрном», который когда-то давным-давно играла девочка с труднопроизносимой фамилией, вернул инструмент к жизни.

Мастер ушел, а я вместе с дочерью, более покладистой, чем её отец (сумевший избежать штормов мажорных гамм и штилей минорных трезвучий), пустился учить азы нотной грамоты, пытаясь хоть так сгладить вину перед инструментом и собственной судьбой. Но, увы, разбей я сегодня и вдрызг свои пальцы, мне уже вовек не добраться до несметных сокровищ музыкальной гармонии, которую я когда-то с такой непростительной легкостью отверг.

Но играть я все же выучился. И в тоскливые вечера, когда все кажется бессмысленной суетой, а мир – уродливым и безобразным, я подхожу к своей черно-белой «несостоявшейся судьбе», чуть трогаю её клавиши, и со звуками вызванных к жизни мелодий оживают далекие дни моего детства, которые, несмотря на сомневающуюся в их реальности память, все-таки были.

## Шпилька

Тимура Благодравова – студента консерватории по классу скрипки - вызвали в комитет государственной безопасности.

Следователь, к которому темным узким коридором направился Тимур, носил спокойную и миролюбивую фамилию – Иванов. Хотя у постоянных посетителей кряжистого здания КГБ, из окон которого (как шутили остряки) «хорошо был виден Магадан» – Иванов шел под прозвищем «Зверь». Не следователь, а сущий дьявол. Даже номер его кабинета состоял из трех шестерок.

В отличие от своих товарищей по ремеслу, придерживавшихся (хотя бы на предварительных допросах) интеллигентных методов, Иванов с ходу, как он говаривал, «ломал подследственным рога».

– Без срока, как ты понимаешь, Благодравов, ты от меня не выйдешь. Даже и не надейся! – пообещал Иванов еще не успевшему переступить кабинетный порог Тимуру.

За следовательским окном млеял теплый сентябрьский день. Попасть в такой день в острог представлялось плевком в лицо мирозданию.

– За что срок, товарищ... Я... что... Я... ничего... – Тимур принялся возводить защитную линию.

– Пиночет тебе товарищ, а я – гражданин следователь. Понял-нет, смычок!? - смял оборонительный рубеж подследственного третий опер Иванов. – А за что срок, так тебе, лишенец, должно быть понятней моего. Компрометируешь звание советского гражданина. Раз. Якшаешься с представителями вражеских голосов и их подпевалами. Два.

– Я... Да... вы... Какие голоса... Какие подпевалы... Вы меня с кем-то путаете... – Благодравов попытался удержаться на пошатнувшихся рубежах.

– Молчать, отщепенец! Тунеядствуешь – три.

– Я учусь. Выступаю с концертами в подшефных колхозах...

– Закрой рот, Моцарт хуев, четыре! Сегодня выступаешь, а завтра глядь: уже светит тебе статья, но не политическая, как ты здесь наивно полагаешь, а капитальнейшая УК 201 часть вторая – «злостное тунеядство». Я лично. Слышь ты? Лично! Охарактеризую тебя перед судом лет на пять, не меньше. И пойдете вы, мосье Дали, в такие дали, что вы и не ожидали, – удачно скаламбурил Иванов. – Смякитил? У меня твои буги-вуги роги-ноги... – Иванов бросил на стол фрагменты чьих-то художественных работ, – во где сидят! – Следователь постучал ладонью в области печени.

– Но это не мои! Я музыкант, а не художник... Вы меня явно с кем-то путаете...

– А мне до жопы. Твои, не твои. Тут, брат, важен результат! – Иванов окончательно смял защитные линии противника.

Но в эту минуту в кабинете зазвонил телефон.

– Как... Почему... Это не входит в разработку... – требования голоса на другом конце провода явно вызывали у следователя сложнопостановочную реакцию, - кто... откуда... так точно... разрешите выполнять...

Закончив телефонный разговор, Иванов отвратительно хрустнул пальцами, закурил и неожиданно сменил градус допроса.

– Закуривай, Тимур, – Иванов протянул подследственному сигарету - поговорим по-мужски. По-доброму, так сказать...

Благонравову показалось, что это был не просто звонок, а какой-то удачный поворот молекул, атомов и всяких там протонов-позитронов в мироздании в его пользу.

– Да, да, да... конечно... поговорим... по-мужски... почему нет... я готов... по-хорошему... – прикуривая сигарету, пообещал Тимур. – Я вас-с-с вни...мате... льно слу...у...шаю.

– Ну, вот и отлично. Вот и ладненько. Ты успокойся, соберись. Не надо бояться черта раньше времени. Вы ж меня все за зверя держите... Ведь так? А я-никакой не зверь. И зла тебе, парень, не желаю. Его знаешь ли, Тимур, сам себе человек на свой зад находит. Он ведь как, человек думает? Вот он думает, борюсь я с властью. Как вы ее там называете? О! Софьей Власьевной! Фиги ей в кармане кручу. Письма на «вражеские голоса» пишу. Иду, одним словом, праведным путем... Оно, конечно, может и так. Только ты же должен знать, куда пути эти праведные ведут. На Колыму они ведут, Тимур, на Колыму. А она... Колыма эта, Тимурка, пострашней самого ада будет. Честное партийное слово даю. Я там два года сержантом в ВВ оттрубил. Так что сужу не понаслышке... И задача нашей организации и меня, как ее представителя, указать человеку, в данном случае тебе, куда может привести выбранная тобой скользкая дорожка. Пойми, Тимур, ты не прав. Хотя, в принципе, ты– парень хороший. Я характеристики твои просмотрел. Комсомольскую анкету. Наш парень. Голову даю на отсечение – наш! Фамилия у тебя правильная. И имя наше – звонкое. Родители, поди, в честь Тимура назвали? Только вот незадача – не ту ты команду себе подобрал, парень. Прямо скажем, шушера, а не команда – спекулянты, отщепенцы и шизофреники. Один этот, как его, Ште... – следователь запнулся и посмотрел в листок. – Шпильман чего стоит. Только я тебя прошу, ради твоего же здоровья, не говори мне, что слышишь это имя впервые.

– Нет, не впервые. Я его хорошо знаю. Мы с ним вместе в консерватории учимся. Только он на фортепьянном отделении. Отлично знаю. Да что говорить, мы с ним с самого детства дружны! Его отец моим первым музыкальным учителем был...

– Ну, вот и молодец! – остановил перечисления Иванов. – Я ведь говорил, что ты наш парень. Советский! Все понимаешь. Всех знаешь. Если и дальше будешь так соображать, выйдешь отсюда переродившимся человеком. Новым, стало быть, человеком! Жизнь станет, Тимурка, лучше – жизнь станет веселей. Уж ты поверь, парень, слову бывалого чекиста.

– Ну, выйти от вас просто так невозможно, тем более, новым человеком. Вы же от меня чего-то потребуете взамен. Ведь так?

– Потребуем, но немного. Для начала я хочу, чтобы ты пересмотрел свое отношение к жизни. Вышел, так сказать, на магистральное направление. В этом кабинете не только судят, но и блюдут, так сказать, права человека и дают надежду. Понял-нет!? Надежду. Вот понюхай – Иванов сильно потянул ноздрями воздух. – Чуешь – нет, как ею тут пахнет.

На самом деле в ивановском кабинете никакой надеждой не пахло, а несло такой тоской, бедой и безнадегой, перед которой даже запахи смерти казались просто верхом парфюмерной промышленности. Долго еще этот запах носила на себе одежда Т.Благонравова – вытертый джинсовый костюм «Wrangler», полосатый свитерок и помнившие времена «большого скачка» китайские кеды.

– И это все? – нервно кусая ноготь на указательном пальце правой руки,

поинтересовался Тимур. – Если да, то даю вам слово, что с завтрашнего дня начну новую жизнь!

– Очень хорошо. Для первой, так сказать, официальной части нашей с тобой беседы просто прекрасно, ибо твое обещание дает мне право надеяться на твое согласие во второй конфин... , короче, анальной части нашего с тобой разговора. Дело вот в чем, Тимур. Ты– парень свой и я ходить вокруг да около не буду. Есть у нас материал на этого твоего... как его? – Следователь заглянул в бумаги. – Шпильмана. Так вот, на квартире у этого Шпильмана собирается всякий там народец. Такой, знаешь, кучерявый, без роду и без племени. Тот, что хлебом не корми, дай только покуролесить, да воду помутить. Потом сами в сторону, а нам эту воду с тобой, Тимур, пить. Короче, есть у меня к тебе просьба, но ты ее рассматривай как поручение. В том смысле, что партия сказала – надо, комсомол ответил – есть. Ты ведь комсомолец?

– Ну да, – подтвердил Благодравов.

– Так вот, будет у меня к тебе, комсомолец Тимур Благодравов, такая просьба-поручение. Надо тебе, Тимур, за этими шпи... жги... льманами понаблюдать. Кто к ним ходит. О чем говорят. Чего замышляют. И обо всем услышанном и увиденном докладывать мне. Они ж, черти, дай им волю, атомную станцию подорвать могут. Известный народ воду в ступе мутить...

– В смысле, если в кране...

– А ты не смейся, Тимур. Ой, не смейся. У меня про этот народец интересные книжечки имеются. Вот возьми, почитай на досуге. – Иванов придвинул к Т.Благодравову стопку тоненьких брошюр.

– Ну как, согласен? Пойми, это важно не лично мне, следователю Иванову – это важно твоей Родине. Родина, Тимур, как и мать, у человека одна. Так разве ж мы позволим обижать всяким там космополитам нашу мать? Лично я не позволю. Ну, а ты решай сам. Сегодня ты Родине – завтра она тебе. Тут ведь скоро осенний набор, а в нем, может так случится, недобор. Значит, консерваторию надо будет на два года отложить ради святого конституционного долга! И не где-нибудь, а, скажем, на магистральных направлениях. А там мороз, братец ты мой, ого-го-ого-го. Шинелька слабенькая. Перчаток не подвезли. А что ты думал?! Солдат обязан стойко переносить все тяготы и лишения военной службы. И надо будет окоченелыми ручонками гайки крутить, гусеницы менять... Короче, через месяц кирдык твоим скрипичным пальчикам. Ну да ничего... переквалифицируешься на балалайку. А что – тоже народный инструмент! Ну как, согласен? Вижу, что согласен! Тогда вот тебе, брат, ручка, бумага – пиши. Я такой-сякой немазанный, домашний адрес. Ну, а дальше я продиктую...

– Как!? Вот так сразу и писать!? Но мне надо поговорить с матерью... самому все обдумать... может я не смогу... дайте хоть несколько дней.

– Ни, ни, ни... Говорить ни с кем не надо. Ни под каким предлогом. Это дело сугубо конфиденциальное. На думы, так и быть, даю день. Хотя, что тут думать! От дум, Тимур, голова пухнет, а у чекиста она должна быть светлой. Короче, завтра в девять жду тебя у себя. В десять тридцать – в случае неявки - выписываю постановление на твой арест. Вот ордер. Осталось только вписать твои инициалы. И здравствуй, Колыма... Давай свою повестку – отмечу, а не то тебя уже сегодня отсюда не выпустят. – И следователь Иванов хлопнул печатью, точно копытом ударил, по Тимуровой повестке.

– Что делать? Как быть? – С этими вопросами Тимур присел на скамейку в

городском парке.

Сентябрьское солнце скрылось уже за верхушками деревьев. От небольшого пруда тянуло сыростью и плесенью. Где-то в глубине парка зловеще кричала неведомая птица. «Это конец! Это конец» – пробормотал, проходя мимо скамейки, неказистый гражданин и скрылся в парковых сумерках.

– Так что же все-таки делать? Написать нельзя – «прогрессивная общественность» осудит, и не писать нельзя – Иванов засудит. Укатает сивку за бугры годиков на восемь. Кранты музкарьере. Да что-там карьере. Жизни капут. Что я буду через восемь лет!? Сгорбленный, чахоточный старик. Вот что я буду! Ну, а если соглашусь. Тогда кто я буду в глазах того же Шпильмана? Ведь я, считай, вырос в его семье. Его отец меня на инструменте учил играть. Ойстрах, говорил. Чистый Ойстрах растет! Это ведь он обо мне говорил. Да он же мне не только учителем, он же мне вместо отца и был. Мой же папик черт его знает где... собакам сено косит. – Потом сестра мне Шпильмановская нравится. Все мне ее в жены прочат. А что – приличная партия. И кто я буду, узнай они, что я на них доносы писал. Сукой последней я буду. Стукачом! А дети, что скажут дети о таком папаше. Это ведь все равно как шило в мешке – не утаишь. Ой, не утаишь! Узнают всему конец. Карьере кирдык! Ни один приличный человек со мной не то, что не сыграет... он с таким «шестерилкой» на одном поле ... не сядет.

– Вариантов не густо. Прямо гамлетовский «Быть или не быть». И где же тут быть и где не быть? Черт его знает, попробуй, разбери. Но ведь всегда же есть третий путь. Должна же ведь быть щель между подлостью и совестью. Что же делать? Думай, думай, думай... – Тимур сильно, словно хотел разжечь творческий огонь в охладевшем от страха мозгу, тер пальцем висок. Взгляд его прилип к указательному пальцу. Что-то смутное, неясное рождалось в его мозгу...

– Вот оно, решение! – Тимур широко раздвинул пальцы правой руки. – Вот он, третий путь. Вот она, щель. Топором по пальцам, и чем прикажете писать, гражданин начальник? Нечем! Так-то, товарищ «зверь»!

– А с музыкой что? А ничего! Рубить надо так, чтобы пальцы могли держать смычок. Скрипачом, безусловно, не стану, но на кусок хлеба заработаю...

– А боль... Какая это будет боль. Боже мой! Может, поговорить со Шпильманами? А вдруг этот разговор до Иванова дойдет. Шпильманам неприятности, а меня Иванов точняк в острог закатает. – Тимур поднялся со скамейки и направился в ближайший гастроном...

– Мама, а где это у нас кухонный топорик? – поинтересовался Тимур у матери.

– Зачем он тебе!? – удивилась мать.

– Да я ребра в универсаме купил. Хочу с картошечкой потушить.

– В шкафчике на верхней полке лежит. Только давай-ка я сама сделаю.

– Нет, мама, – отстранил ее Тимур. – Мясо – дело мужское.

Топор вошел в «мясо» легко, но оказался, видимо, тупым и малопригодным для подобных процедур, а может быть тренированные, сильные пальцы оказались ему не по острию. Они еще долго висели на посиневшей коже.

– Случись это сегодня, то мы бы тебе их в два счета пришили. И бегали бы они – лучше прежнего, – утверждал спустя несколько лет знакомый микрохирург.

Но в тот день дежурный доктор травматологического отделения первой городской больницы отщипнул безымянный и указательный пальцы, и они с

противным грохотом упали на дно металлической коробки...

Одним из первых в палату к Тимуру Благодравову явился следователь Иванов. – Ну, что, Тимурка!? – сказал он, противно ухмыльнувшись. – Ты думаешь, ты герой? Нет, брат, ты не герой! Ты беспальный мудака – вот ты кто! Я тебе сейчас кое-что скажу, а ты заруби эти слова у себя на носу. Если тебе, беспальный, захочется бравировать своим героизмом – мол, вот я какой такой-сякой весь из себя, пальцы отрубил, чтобы гэбэшным стукачом не стать, то я тебя сразу предупреждаю... Я тебя самолично упеку за компрометирующие государственную службу речи, плюс членовредительство. Запомни – хоть одно слово. Хоть – один намек... – Иванов закрыл за собой дверь. От нее к кровати потянуло сибирским холодом...

– Тимур Александрович, вы как-то просили подобрать вам надежного начальника охраны театра, не так ли? – спросил у директора театра оперы и балета Тимура Александровича Благодравова высокий чин из МВД.

– Да, да, да... конечно, конечно... – обрадовался директор.

– Ну и прекрасно... у меня как раз появилась достойная кандидатура.

Специалист высшей категории. Театр будет на замке! Я представлю его вам после обеда. Часика в два... годится?

В три часа пополудни в директорский кабинет вошли двое.

– Разрешите представить вам претендента на роль нового начальника охраны,

– высокий чин из МВД дружески хлопнул пришедшего с ним человека по плечу.

– Как!? Вот этого гражданина вы собираетесь назначить на должность... –

директор Благодравов ткнул в человека обрубками правой кисти.

– Да, именно его... а вы что ж, знакомы!? – поинтересовался чин.

– Кажется да... ваша фамилия, кажется, Зверев? – обратился к претенденту Благодравов.

– Иванов. Бывший полковник комитета госбезопасности, – представился претендент.

– А ну да, да, да... Иванов, Иванов. Послушайте, господин Иванов...

– Можно товарищ, – бывший полковник дружески улыбнулся.

– Хорошо, товарищ Иванов, я бы попросил вас выйти на несколько минут в приемную. У меня к (Т. Благодравов назвал фамилию высокого чина из МВД) есть несколько слов сугубо тет-а-тет.

Иванов удивленно взглянул на чиновника, а тот в свою очередь – на директора. В директорских глазах прочитывалась активная решимость вытолкать «претендента» в случае неповиновения за дверь.

– Хорошо, – согласился чин. – Товарищ Иванов, пройдите пока в приемную.

– Я вас слушаю, – поинтересовался чин, раскуривая сигарету.

– Дело в том, что я хотел бы видеть на этом месте другого человека, – Тимур Александрович был сама решимость.

– Не понимаю, – чин выпустил в потолок причудливое дымное кольцо, – чем вас не устраивает Иванов? Это один из лучших специалистов в области организации охраны и предотвращения терактов. Да это и обсуждать невозможно, ибо он утвержден не мной, а городским советом.

– Но вы же говорите, что он только претендент, – возразил ему директор Благодравов. – Значит, имеются и другие кандидатуры. Я бы хотел взглянуть и на них.

- Ну, претендент – это я так, для политесу назвал. На самом же деле он никакой не претендент, а самый что ни на есть начальник охраны. Уже и все соответствующие бумаги подписаны. А в чем, собственно, дело, уважаемый Тимур Александрович, чем он вас не устраивает? Стаж? Звание? Возраст?
- Нет. Тут сугубо личный аспект, – директор достал сигарету. – Я не хочу с ним работать по нравственным, так сказать, мотивам.
- Извините, любезный Тимур Александрович, мне не интересны ваши личные дела и нравственные пристрастия. Я знаю только одно, и оно заключается в следующем. Общественное вы должны ставить выше личного. Вы посмотрите вокруг. Терроризм поднимает голову! В такие дни каждый специалист по борьбе с ним на вес золота, а вы – личное. Простите, но вас, уважаемый Тимур Александрович, там не поймут! – чин указал в направлении правительственного здания. – Там ведь вопрос встанет – Вы или Он. И боюсь, что он решится не в вашу пользу.
- Почему это вы думаете, что не в мою... я опытный работник культуры... многое сделал для театра, города и, кажется, имею право...
- Право имеете, но не в такой обстановке, ибо она диктует суровые меры. И только такие, как Иванов, смогут вернуть нашу жизнь в нормальное русло.
- Ну знаете, если такие, как он, то я не понимаю, для чего было весь этот демократический огород городить, – возразил Т.Благонравов. – Все эти стройки-перестройки.
- Простите, Тимур Александрович, это тема для ток-шоу, а не для государственного учреждения. Решение принято и обсуждению не подлежит. Ничего. Сработается, стерпится... Товарищ Иванов, прошу вас. – И чин открыл начальнику охраны театра Иванову дверь.
- Посидев в кабинете еще минут десять, чин вышел и оставил Благонравова с бывшим следователем КГБ Ивановым наедине.
- А ты почти не изменился, Тимур. Все такой же боевитый, принципиальный. Нет, не зря говорил я когда-то, что ты наш парень. Ох, не зря!
- Вы, кажется, забываетесь, милейший. Сегодня вы находитесь у меня в кабинете, а не я в вашем. Поэтому, во-первых, попрошу вас впредь называть меня на «вы» и только по имени-отчеству. Во-вторых, реже попадаться мне на глаза.
- Ну, что вы, Тимур Александрович. Зачем же так! Сколько лет прошло! Сколько зим! Кто, как говорится, старое помянет, тому глаз вон. Я ведь против вас ничего не имел... работа у меня, видите ли такая была. Как в той песне – «Работа у нас такая... Жила бы страна родная, и нету других забот» – пропел Иванов. Так что вы не сердчайте, Тимур Александрович... и камень из-за пазухи выкиньте. Нам ведь теперь вместе работать... одно, так сказать, дело творить. Эх, как жизнь поворачивается... я ведь вам когда-то предлагал работать вместе... вы не согласились... и видите, как все нехорошо получилось. Иванов указал на правую директорскую руку. Так что давайте хоть сейчас не дергать судьбу за усы...
- Послушай, ты! Мразь! Я тебя сейчас самого лишу пальцев, усов и головы... Понял, нет!? А теперь встал и пошел вон из кабинета.
- Тихо, тихо, Тимур Александрович. Вы же работник культуры. Держите себя в должных границах. В чем же я виноват? Неужто в том, что у вас беда с... - Иванов указал на изуродованную руку Благонравова, – приключилась. Да не поступи вы тогда так опрометчиво, имели бы совсем другую судьбу.

Знаменитым на весь мир были бы, как ваш приятель Шпильман. Помните такого? Ну, как же не знать! Пианист. Живет за границей. Лауреат. Профессор. Туры. Европа. Америка. А как же иначе. Ведь он, в отличие от вас, Тимур Александрович, пальчиков-то не рубил. Ой, не рубил, а исправно на вас и на прочих ваших «товарищей» доносы писал. Да если бы только он один! Вся ваша так называемая творческая интеллигенция друг на дружку строчила огогого! В прикуп не заглядывай! Кубометры леса извела ваша творческая интеллигенция... А вы говорите – за дверь.

– Врешь, негодяй! Врешь! – стукнул по столу кулаком Т. Благодрава. – Не верю ни одному твоему ктбышному слову. Не верю.

– Дело ваше, любезный Тимур Александрович. Только я ведь с вами не в детскую игру «верю – не верю», собрался играть. У меня, родной вы мой, и документики имеются. Знал ведь, с кем на встречу иду. Знал, о чем разговор наш с вами пойдет. Вот смотрите, – Иванов достал из папки стопку бумаг. – Читайте, вспоминайте, размышляйте. Это самые что ни на есть подлинники. Не все, правда, но и этого, я полагаю, будет достаточно.

Дрожащими култыками переворачивал страницы Благодрава.

– «Источник сообщает... Антисоветские мысли, высказывают Тимур Благодрава... Шпилька».

– «Источник сообщает... на квартире у студента Благодрава... Шпилька».

– Кто это – «Шпилька»? – поинтересовался, закончив читать, Благодрава.

– Как кто? Шпильман, конечно. Это у него такой оперативный псевдоним был – «Шпилька». Обычно мы их давали, а этот сам себе придумал, что говорится, вставлял «шпильки в колеса», – Иванов развязно хохотнул.

– Заткнись, идиот! – одернул его директор. – И пошел вон отсюда.

Как только за Ивановым закрылась дверь, Тимур Александрович в ту же минуту бросился к книжному шкафу. Там за административными книгами, театральными брошюрами, рабочими инструкциями и прочей дребеденью стояла у него бутылочка ямайского рома – подарок некоей культурно-обменной международной организации. Тимур Александрович почти не пил, даже можно сказать, совсем не пил, за что (в дни борьбы с пьянством и алкоголизмом) и получил директорское место, но сегодня не выпить было нельзя. Уж слишком тяжела была новость.

– Лучше бы я диагноз о своей неизлечимой болезни получил, чем такие известия, – подумал Тимур Александрович, закусывая ром шоколадной конфетой. – Боже мой! Боже мой! Неужели правда? Неужели он мог так поступить? Вот так взять и написать? «Источник – Шпилька». Не верю! Не верю!

– А с другой стороны, почему бы и нет. Ведь не только он писал. Вон «зверь» говорит, что писали массово. И поди не поверь, когда у него на руках доказательства есть. Вообще-то, не случись со мной такое, – Тимур Александрович посмотрел на свои обрубки, – я посмеялся, плюнул, да и забыл бы всю эту хренотень. Ну что сделаешь, слаб человек – непрочен. Но тут ведь совсем другое дело! Боже мой, тут совсем другой расклад. Ведь это я, чтобы на него не писать, сделал! Сохранив ему жизнь, карьеру, я свою поломал. Ведь кто бы я был сейчас. Разве бы здесь сидел. Рядом с этой падалью Ивановым. Я бы сегодня остров имел. Торчал бы там, как Робинзон, со скрипкой, без всех этих мудаков, что крутятся вокруг. Служил бы музыке. Что может быть лучше

служения истинному, вечному!? А тут... Тимур Александрович – то! Тимур Александрович – это! Тимур Александрович – туда! Тимур Александрович – оттуда...

– Вот же сука! Вот Иуда! Встреть, кажется, я его сейчас, зарубил бы собственными руками. Или лучше всего – пальцы бы ему отсек. Поиграй-ка, господин Шпилька, обрубками, а мы послушаем. Не получается? А-а-а... И у меня не получилось. -

Тимур Александрович надел шляпу, пальто и вышел на улицу.

– Куда идти? – размышлял он, стоя на четырех углах шумного проспекта. - Домой? Неохота. К друзьям? К стукачам! В храм? А там не лучшие служат. У каждого дьякона под рясой ментовской погон. В пивбар? К народу! Но там грязь и запустение. Лучше уж в одиночку. Одиноким пришел ты в этот мир, Тимур Александрович, одиноким и уйдешь из него! – Благонравов зашел в магазин и купил бутылку водки...

– Что с тобой, Тимур?! – всплеснула руками жена. – Что с тобой? Пьяный! Боже мой, какой ты пьяный. А воняешь! Чем ты воняешь? – жена принялась.

–

Пальто!? Боже мой – это же бельгийское пальто. Посмотри, на что оно похоже. Галстук!? Галстук на спине! А шляпа, где твоя шляпа? Боже, видел бы ты, на что ты похож. – Возмущенно – испуганно восклицала супруга.

– Не...прав...да...а! Я пр... екра...а...а... сно вижу... на кого... я похо...ож! - возразил заплетающимся языком Тимур Александрович. – Я... похож... на мудака с обрубками! – Тимур Александрович потряс культиками. – На мудицу с Нижнего Тагила – вот на кого я похож! Хотел быть героем, а вышел инвалид. На инструменте вам, Тимур Александрович, ясно как Божий день, не играть. Ступайте-ка вы в культурные функционеры. А ведь кем бы я мог стать. О! О! О! Если бы не это, – Тимур Александрович тряхнул правой рукой. – суки кругом! Иуды!

– И я! – обиженно воскликнула жена.

– Нет... Ты-ы-ы дру-г-ое дело... Ты... т... да прилепится-ся жена-а-а к мужу своему. Ты свя-а-то-е... – Тимур Александрович забормотал и минуту спустя уже храпел.

В другой бы день можно было бы сказать – сном праведника, но каков был сон у Благонравова в ту ночь, то никому неизвестно...

Утром не успел еще Тимур Александрович снять вычищенные женой пальто и шляпу, как в кабинете зазвонил телефон.

– Из министерства. Характерный звук. А у меня голова совсем не варит.

– Тимур Александрович, ну как поживаешь, родной? – поинтересовался зам. министра и, не дав ответить, продолжил. – Тут видишь, какое дело. Решил, знаешь ли, на Родину, в город детства с благотворительным концертом маэстро Шпильман зарулить. Шпильман, брат ты мой, это не ворона на проводах, а культурное событие! Ну, не тебе объяснять.

– Так вы не объясняйте, а говорите конкретно, – раздраженно буркнул Благонравов.

– А конкретно... Короче, концерт, мы думаем, лучше всего провести в твоём заведении. Во-первых, охрана у тебя в театре надежная. Во-вторых, вы, кажется, учились вместе.

– Да, – подтвердил Т. А. Благонравов. – Учились – не доучились...

– Ну, вот и отлично. Такая получится встреча старых друзей. Почти как у тети Вали в передаче «От всей души». Короче, готовься. Концерт намечен, - чиновник назвал дату.

– Кино! Плохая пьеса! Нет, нет, нет – так не бывает. Это мне все снится. Это похмельный синдром, – Благодрагов потер виски. – Нет, это не синдром, – на столе лежала записка с его почерком. – Такого-то числа. Такого-то месяца. Неужели реальность? Сцепились шестеренки справедливости!? Сцепились. Ну что ж... Бывает, брат Шпилька, на свете такое, чего и не снилось нашим мудрецам! – Благодрагов зябко потер ладони. – Как говорится, на ловца и зверь бежит, или как там еще – на воре шапка горит! Welcome to родной город, мистер Шпилька. Уж не обесудьте за будущую встречу. Как говорится – глаз за глаз... Не я решил. Судьба вас ко мне привела...

Концерт удался на славу. С него шумной толпой отправились в охотничий домик. Баня. Водка. Малая Родина.

– Господа, друзья, товарищи, сегодня я играл как никогда. Ей-Богу, как никогда. Да что говорить, я уж, поверьте мне, не сыграю так больше, – вскинув бокал, признался Шпильман. – Вот что значит – играть в родных стенах. Вот что значит – играть для настоящих друзей. Виват, господа, виват!

– Тимур, друг, на брудершафт и дай я тебя облобызаю! – Шпильман нежно обнял старого приятеля. – Родной ты мой. Я так часто тебя вспоминал. Так часто. Эх, Тимур, Тимур, минули годы. Минули. Кажется, все есть! Всего достиг, а вот на тебе – чего-то не хватает. Ни родных, ни друзей. Живу на шумной Пятой авеню, а поговорить не с кем. Веришь-нет? А помнишь, как мы болтали. Сколько планов строили. Ах, Боже ты мой, Боже! Ну, ты-то как? - поинтересовался Шпильман у Тимура Александровича.

– Да, слава Богу! Слава Богу – ничего. Скрипача не вышло. Ну, да с такими пальцами какой скрипач, – Благодрагов тряхнул травмированной кистью.

– Да, да, да... – сочувственно закачал головой Шпильман.

– Не вышло – так и не вышло. Немножко преподавал. Немножко выступал. Знаешь, этакий музыкальный Павка Корчагин. Приходили смотреть как на дрессированную макаку. Мысли стали нехорошие посещать. Черт его знает, чем бы это все закончилось, но тут на счастье ли, на горе ли реформы подоспели. Старого директора за пьянку из театра выбросили, взялись нового искать, а из всех кандидатур один я непьющий. Утвердили. Работаю. Зарплату получаю регулярно. Можно сказать, счастлив, но живу, поверь, одними воспоминаниями. Ведь как все должно было быть, но не сложилось, не вышло. Кто виноват? Никто не виноват. Так фишки упали.

– Да, да, да... – закачал головой Шпильман. – Не буду тебе ничего говорить. Не буду утешать. Ибо не знаю я слов утешения. И все, что ни скажу – патетика и пафос, а я их терпеть не могу. Встречаю в газетах о себе: великий пианист современности! Повелитель клавиш! Господи, какой я повелитель. Какой я великий Великий?! Посмотри на меня – метр с шапкой. Я просто хорошо выполняю свою работу. Вот и все. Что ж тут великого, скажите мне, друзья? - обратился Шпильман к гостям вечера.

– Ну, ну, ну... – загалдели присутствующие. – Таких, как вы, пианистов в мире единицы, а может даже и один. Первый среди многих – разве не величие?

– Ну уж, первый! Я вам с десятков имен могу назвать, – возразил Шпильман.

– Не скромничайте, маэстро. Не скромничайте, – встряла в разговор ведущая солистка театра. – Я где-то читала, что ваши пальцы застрахованы на миллионы

долларов. А вы говорите, как все. Всем, милый мой, пальцы на «лимоны» не страхуют...

Вечер подошел к концу. Многие разъехались, некоторые, в том числе Благодравов и Шпильман, остались ночевать в домике.

– Тимур Александрович, я вам постелила на втором этаже. Пойдемте, я вас провожу, – горничная поднялась на ступеньки.

– Нет, нет и нет! – возразил Шпильман. – Мы будем спать в одной комнате. Горничная криво ухмыльнулась.

– Попрошу без намеков, – шутливо погрозил ей пальцем Шпильман. – Мы будем спать по-дружески, по-мужски. Правда, Тимур. Пойдем. Я вот и бутылочку прихватил. Посидим еще, посудачим.

Но ни посидеть, ни посудачить не удалось. После первой же рюмки Шпильман закивал носом и вскоре вдохновенно захрапел.

– Что значит музыкант, – усмехнулся Благодравов. – У него даже храп похож на сонату...

Вскоре соната сошла на менуэт и вовсе стихла. В домике стало тихо. Только за окном скрипели деревья, да изредка вскрикивала ночная птица.

Благодравов погасил сигарету и вышел в прихожую. Из своего рюкзака он вытащил старый кухонный топорик.

– Привет, дружище! – Тимур Александрович подбросил топор. Потолочная лампочка спрыгнула с его тусклого лезвия. – Тряхнем стариной? Не забыл еще, как это делается? Щелк и нет пальчиков. Говорят, что они у него в миллионы оценены. Ну, тем и лучше. Ты станешь великим топором! Не всякому, брат, выпадает такая честь. Тебя, еще станется, в музей упекут. А хозяина твоего новым Сальери объявят! Как говорится – не мытьем, так катаньем в историю попадем.

Тимур Александрович вернулся в комнату. Зажег настольную лампу и положил безвольную, спящую правую руку «клавишного укротителя» Шпильмана на прикроватную тумбочку.

– Ну вот, друг Шпилька, пришла расплата, – глядя на длинные, точно выточенные прекрасным мастером пальцы, качал головой Благодравов. – Думал ли ты, когда писал доносы, что у тебя может отсохнуть рука, или что ее могут отрубить? Нет, уверен, что не думал. Ты думал – пусть отсохнет чья-нибудь, но не моя. Мои, мол, руки принадлежат вечности и ради этого можно пожертвовать сотнями чужих рук! Ты скажешь, что это пафос, патетика, что ты этого не любишь! И я не люблю, друг ты мой ситный. Не люблю. Поэтому ближе, что называется, к конечностям.

Благодравов провел пальцем по лезвию топора. Затем по шпильмановской тыльной стороне ладони. Морщинистая кожа с едва проступающими желтоватыми пятнами – знаками надвигающейся старости.

– У меня точно такие же, – Благодравов вздохнул. – Жена все говорит, чтобы я их мазал какой-то импортной мазью. А! Мажь, не мажь – все одно на сухой лес выглядишь...

– Пятна пятнами, а пальцы у него что надо. Прекрасные пальцы... А что он сегодня ими вытворял... ну нет слов, что вытворял. Смотришь на них и думаешь. «Ну не может быть, чтобы вот эти прекрасные пальцы могли доносы писать. Стаккато извлекать – пожалуйста, но доносы... Ну не верю! Хоть убей, не верю.

– Да брось ты, – толкнул в руку Благодравова чей-то голос. – Он писал. Он, и

бумажки ты эти видел. Его почерк? Его. Так что тут думать! Секи и делу конец!  
– Не могу. Не могу. Не верю. Не могли такие пальцы доносы писать. Не могли.  
Это все «зверь» подстроил. Себя выгораживал. Не верю! – возразил  
Благодравов и положил топор к себе на колени.

– А я говорю, руби! Руби, дурак. Секи, олух! Зуб за зуб! Палец за палец! Руби!  
– Нет! – крикнул в ответ Т.А.Благодравов.

Шпильман зашевелился.

– А я говорю, руби суку! – гаркнул голос.

– Нет! – затопал ногами Благодравов и со всей отмаши рубанул топором себя по  
пальцам. – Нет!

Топор с грохотом упал на паркет. Благодравову показалось, что и от его крика  
и от топорного грохота закачался, грозя обрушиться, крепкий охотничий домик.  
Но дом выстоял. Вскоре в нем захлопали двери, затопали ноги, запричитали  
женские голоса...

Карета скорой помощи увезла Тимура Александровича Благодравова в  
травматологическое отделение первой городской больницы.

Дежурный хирург щелкнул ножницами, и благодравовские пальцы с  
противным грохотом упали в металлическую коробку...

## Длинный петляющий путь

Дом №56, мирно маячивший на перекрестке Первого Коммунистического тупика и Второго Национального спуска, ничем существенным не отличался от таких же бетонных мастодонтов, коих было без меры натыкано в одном крупном индустриальном центре. Бетон, стекло, подвал, а в нем котельная (в которой и развернутся основные события этого повествования). Котельная дома №56 была небольшой, подслеповатой, с множеством всевозможных задвижек, вентилях, краников комнатенкой. Сколоченный из винных ящиков обеденный стол и пара наспех сбитых табуретов. По утрам в подвальный полумрак спускалась бригада слесарей: хмурых с помятыми лицами ребят неопределенного возраста. Часов до одиннадцати они еще чего-то крутили, чинили, гремели ключами и кувалдами, после пили плодово-ягодную «бормотуху», сквернословили и дрались. Когда величина пролитой пролетарской крови достигала количества выпитых стаканов, у оцинкованной подвальной двери с жутким воем тормозил милицейский «ГАЗик». Из него на цементные плиты двора выскакивал молодой слегка одутловатый районный участковый Макарыч. И, угрожающе размахивая табельным пистолетом, по-свойски приводил распоясавшуюся слесарню к порядку.

– Что, синюшники, давно в «хате» не были? – кричал участковый, грузя нестойких к плодово-ягодным суррогатам пролетариев в тесный ментовский «воронок»...

– Ксиву составляй, начальник, у нас еще три пузыря «Агдама» на столе осталось, – требовали хозяева незаконно изымаемых бутылок.

– Я вам щас сделаю ксиву! – шипел уполномоченный и снимал с «Макарова» предохранитель. Слесаря тревожно замолкали.

– Товарищ сержант, – отдавал участковый команду помощнику, – собирайте вещдоки.

– Есть, – отвечал сержант, и сбрасывал остатки спиртных возлияний во внушительных размеров сумку. Машина трогалась. Котельная погружалась во мрак и тишину.

Вечерело, и из сантехнического сооружения котельная превращалась в шумную обитель местной рок-элиты. В эти вечерние часы вентиля, заслонки, и манометры котельной дома 56 слушали уже не слесарскую брань, а музыку Пола МакКартни. Почему МакКартни? Да потому, что в то время как верхний мир существовал общностью выбора, нижний предпочитал делать этот выбор сам. Так, одна котельная слушала «Цеппелинов», другая «сдирала» импровизации с Джимми Хендрикса, третья балдела под роллинговский «Satisfaction». Котельная дома номер 56 тоже имела свой маленький бзик, здесь рвали сердца яростные поклонники Пола МакКартни. О чем и свидетельствовал висевший в красном углу котельной, нарисованный (художником Михеем) портрет Пола МакКартни с приклеенным к нему кредо подвальщиков. – «Коль не знаешь «Yesterday» не суйся в двери к нам злодей». Но, несмотря на такое предостерегающее заявление, злодей являлся. И вновь как в утренние часы его олицетворял собой оперуполномоченный Макарыч.

– Что, битлаки, давно в хате не были, – истошно орал участковый, грузя меломанов в тесный ментовский «ГАЗик».

– Составляй протокол, начальник, у нас еще три пузыря «Кызыл – Шербета» осталось, – гудел «воронок».

– Я вам щас сделаю протокол, – шипел на заявление Макарыч и тянулся к кобуре. Неодобрительный гул стихал.

– Товарищ сержант, собирайте вещдоки, – отдавал приказание Макарыч, и снова как и утром во вместительную сумку летели остатки дармовой «бормотухи». Машина трогалась. До утра в котельной оставались только стол, стулья, ключ на 48 и изорванный в клочья портрет Пола МакКартни (вот тебе, Пол, и «Back in USSR»).

А слесарно-хипповые вещдоки доблестные рыцари общественного порядка «уничтожали» в павильоне «Мутный глаз». Обычно между третьим и пятым стаканом «Кызыл-агдамовского» коктейля старший лейтенант Макарыч начинал безбожно икать, чихать, сморкаться и угрожающе тянуться к табельному пистолету «Макаров».

– Грузи, – командовал сержант и верные по нелегкому ремеслу соратники заталкивали старлея в «воронок».

Как правило, за этим лихими набегами шли собрания общественности и правоохранительных органов. Доска объявлений местного ЖЭКА пестрела указами, а стенд районного опорного пункта милиции – постановлениями. «Укрепить!» – гласил указ. «Расширить!» – требовал стенд.

– Заменить замки и завалы, – вторила стендам и доскам замученная кражами солений из подвальных боксов общественность.

Но проходило время. Постановления понемногу забывались. Общественное мнение успокаивалось. МакКартневцами вызывался известный в округе «специалист по завалам» со звучной фамилией Жора Моцный. И снова дым болгарских сигарет «Солнышко» и вперемежку с винно-водочными парами стелился в «lonely hearts club band» Пролетарского района.

Как-то в один из зимних вечеров, когда никто не ожидал набега антимзыкальных «опричников», оцинкованную дверь сотряс удар кованого сапога. Щеколда треснула, и на пороге возник бравый участковый старший лейтенант Макарыч. Странно, но в тот вечер он был один. То ли вверенный ему боевой отряд дружинников был брошен на другой фронт идеологической битвы, то ли Макарыч решил сам, в одиночку покончить с музыкальным «МакКартнизмом»? Только начал он, как обычно, с крика:

– Ну что, битлаки, мать вашу в душу. Опять засели! Ах, вы пейсатики мохнорылые! Курвы империалистические. Всех пересажу. Я вас, б. дей, научу Родину любить!

Монолог разошедшегося старлея перебил 18– летний «балбес» Стас (выпертый накануне за протаскивание вредных мыслишек в студенческую среду культпросветучилища):

– Макарыч, ну что ты орешь как чумовой, – оборвал он участкового. – Давай забудем на время, «старшой», всю политическую туфту, которую тебе рассказывают в «красных уголках»! Оставим политические бури и идеологические штормы, а бухнем-ка за нерушимую дружбу власти и народа добрую кружку «чернильца», – и для убедительности сказанного Стас извлек на свет дурно пахнувший фугас «Кызыл-шербета».

– Я тебе бухну, махновец. Я вас, оппортунистов косматых, собственнично в «стольпин» доставлю, будешь знать кому «бакшиш» предлагать, – опер цепким взглядом скользнул по зеленому бутылочному стеклу. Дрогнуло горячее сердце,

кругом пошла холодная голова, и чистые ментовские руки жадно потянулись к вожделенному продукту. – Ладно, – подобревшим голосом произнес опер, так и быть, плесни, кудлатый, «власти» стакашку. С самого утра маковой росинки во рту не было. Извелся с вами, битлаками, слесарями, времени нет, понишь, ни выпить, ни закусить. Да, что говорить, посидеть и то некогда. А ну, дай место старшему, – и он бесцеремонно толкнул кого-то с колченого табурета. –

Насыпай, – Макарыч указал на пустой стакан.

– Ну, песнярики, давай рассказывай, как до жизни такой докатились? – закусывая «беломориной», спросил Макарыч. Люди, понишь, БАМ подымают, корабли, понишь, в космос «закидывают», а вы волосатиков на стены вешаете. Нехорошо! Вот это что за педрило висит? – и Макарыч указал на портрет МакКартни.

– Ты, Макарыч, свою вульгарщину, понишь, здесь брось, – обиженным тоном произнес Стас...

– А чё ты обижаешься? Педрило, они все педики, волосатики эти ваши! Нам, понишь, на лекции рассказывали, – ответил Макарыч.

– Этот – не педрило, это МакКартни, – пояснил Стас.

– А, – протянул участковый и добавил. – А мне один хрен, кто. Ты лучше налейка, Стасец, еще стаканец.

Макарыч выпил, пожевал соленый помидор и, сытно икнув, сказал:

– Не, пацаны, надо это заканчивать.

– Чего заканчивать? – не поняли битники.

– Шляться сюда, понишь. Во чего!

– Надо бы, Макарыч, да больше как сюда и податься нам, выходит, некуда, – возразил ему Стас.

– Как некуда, а школа, а Дом культуры. Все для вас понастроили.

– «Лом» это культуры, Макарыч, а не Дом – хором заявили «подвальщики». Там же только хор «ветеранов», да кружки «умелые руки», а нам аппаратура, гитары нужны.

– Гитары говоришь, – Макарыч скосился на лес гитарных грифов, стоявших вдоль подвальной стены.

– Зачем вам гитары? Вон их у вас сколько, что «Першингов» у Чемберленов. Где вы их только берете? В магазинах-то их днем с огнем не найдешь, понишь?

Разговор невольно стал перетекать в музыкальное русло.

– А это у вас что, «семиструнка»? – старлей косанул на стоявшую поблизости «доску» производства апрелевской муз. артели.

– Да нет, Макарыч, ты что! – невольно перейдя на «ты», дружно загалдела подвальная братия. Мы на «семиструнках» давно уже не лабаем.

– Чего, чего? Это что за феня такая, почему не знаю? – спросил Макарыч.

– Лабаем, ну значит – играем по-нашему.

– А! Ну, тогда понятно, а я это, понишь, на «семиструнке» Высоцкого лабать могу. «Если друг оказался ...» и это «На братских могилах...», и еще эту. Как её? Ну, эту... помните «Сколько раз тебя из пропасти вытаскивал»

– «Скалолазка» что ли? – подхватили «андеграундовские» музыковеды.

– Во-во, «Скалолазка». Ох, знал я одну, язви её в душу... – многозначительно вздохнул старлей и смачно затынулся «беломориной»...

– Да ты что, Макарыч. Серьезно что ли, умеешь лабать? – изумилась подвальная ватага. – А ну-ка изобрази!!

– А че, и изображу. Вы че, понишь, думаете, что если я – мент, так мне все

человеческое чуждо? Нет, шалишь, братва, Макарыч и жнец, и на игре дудец!  
Ну-ка, дай сюда вашу балалайку.

Через мгновение гитара была перестроена, и Макарыч – живое воплощение  
«гуманной власти», запел.

Хотя какой «властью» являлся этот вечно задержанный начальством и  
общественностью опер, ненавидимый блатными и проститутками «мусор»,  
презираемый битниками и свободными художниками «ментяра».

– Ну как? – закончив песню, скромно спросил нас старлей.

– Да, здорово, Макарыч, – заплодировали участковому «МакКартневцы» Тебе  
бы на шестиструнке выучиться, да «Yesterday» с «LET it BE» славать.

– Так покажите, я смысленый, – и Макарыч охотно устался на новые,  
незнакомые ему аккорды. За разговорами, музыкой и «бухаловом», незаметно  
пробежало время. Когда обнявшаяся шинельно-мохнатая кодла с громкими  
песнопениями и безумными планами на близкое вооруженное восстание  
вынырнула из подвальных глубин, на дворе уже свирепствовала холодная ночь,  
светом далеких созвездий дарившая нам веру в скорые перемены. Но новый  
день не принес перемен, до них еще было далеко...

Жизнь распорядилась так, что вскоре я уехал в другой район города. И теперь  
лишь изредка навещался в свой старый дом. Я знал, что Макарыч по-  
прежнему на боевом посту вверенного ему Пролетарского района. Имел  
сведения, что Стас научил-таки его шестиструнным аккордам и потихоньку  
приобщил старлея к искусству «Великого Ливерпульца». Потом вдруг пошли  
слухи, что то ли Макарыч кого-то застрелил, то ли Макарыча...

Цветными лепестками облетела моя юность и молодость, а на пороге  
зрелости судьба привела меня под крышу районного ОВИРА. Народу у дверей  
по утрам набивалась прорва.

– Чё, кучерявые, в теплые хаты захотели? – обращался к отъезжающим  
молодцеватый старший лейтенант.

– Открывай, старлей, время! – требовал народ.

– Я те щас открою, – шипел лейтенант и тянулся к кобуре с «Макаровым»  
Эмигрантская публика покорно стихала.

Наконец, все бумаги были в кармане, и я отправился прощаться с городом, где  
прошла моя первая половина жизни. За день обошел я все близкие мне некогда  
уголки. Пришел и к подвальной двери...

Короткий декабрьский день затухал в свете зажегшихся фонарей. Падал  
снег, и грустно смотрел на меня старый дом. Такая заветная некогда дверь  
сегодня была широко распахнута и сиротливо смотрела на мир заржавевшим  
завалом. Те же, кто когда-то ломал её в поисках обманчивой свободы, выросли  
и, забыв о своих мечтах, – кто спился, кто обзавелся семьей, а кто иномаркой.  
Ну, а новое поколение выбрало «Пепси». Было тихо, пахло сыростью, мышами  
и кошачьей вольницей. Долго стоял я у двери, вспоминая слова из «Yesterday.»

«Я вчера

Огорчений и тревог не знал.

Я вчера еще не понимал,

Что жизнь нелегкая игра»

Через несколько дней сверкающий авиалайнер увез меня из заснеженных полей  
моей милой Родины туда, где нет ни метелей, ни снежных бурь.

Минуло несколько лет. Как-то хамсиновым вечером брел я, грохоча своей  
продовольственной тачкой по булыжной мостовой тель-авивского Арбата.

Раскаленный солнечный диск бросал свои прощальные лучи на задыхающийся город. В жарком вечернем мареве дома, деревья, машины и люди казались какими-то размытыми, нечеткими, призрачными. Из всей этой химерической картины реальными были только долетевшие до меня аккорды «Yesterday». Позабыв о жаре, о нелегкой ноше поспешил я на любимый мотив и вскоре увидел сидевшего на тротуарном бордюре гитариста. Пел он плохо, но выглядел весьма колоритно. Длинные волосы были схвачены брезентовой ленточкой, на шее болтались чьи-то хищные зубы, худые икры обтягивали истертые до белизны джинсы фирмы «LEE», на боку болталась пистолетная кобура. «Боже мой, – пронеслось в воспаленном хамсином мозгу, – да ведь это – же Макарыч!»

Сердце мое упало куда-то далеко вниз. В висках заухали молотки. Макарыч? Неужто он??!! Напряженно вглядывался я в черты, знакомого и вместе с тем незнакомого мне лица, как будто от решения этого вопроса зависело что-то важное в моей жизни. Живописный музыкант меж тем закончил «Yesterday» и, достав из карманных глубин наполовину опорожненный «Кеглевич» (популярный сорт израильской водки) спросил: – «Плеснуть?» Но, не дав мне ответить, выпил и выразительно затыкнул «Long And Winding Road»

«Длинная петляющая дорога,

Ведущая к твоему дому,

Не исчезнет никогда.

Я видел эту дорогу и прежде...»

В душе моей закопошились ностальгические обрывки прошлого: оцинкованные двери котельной, портвейн «Кызыл-Шербет», ментовский «ГАЗик» и пистолет системы Макарова. Глаза мои предательски повлажнили. Я бросил в соломенную шляпу музыканта серебряную монету и, не дослушав песню, побрел по узким лабиринтам к шумевшему неподалеку городскому проспекту.

## Колеса судьбы

.... белесо – молочными атомами зарождается он за окном. Это еще не свет, а тот грунт, на котором великий художник разольет свои краски. Сегодня серые, завтра оранжевые, а послезавтра и вовсе электрик. У кровати тусклым пятном чернеет пара синтетических тапочек китайского производства. Я просовываю в них свои худощавые ноги и иду на кухню. Под ногами, как живой, стонет разошедшийся паркет.

Кря, кря. Жик, жик, – жалуется он вещам, встречающимся у меня на пути. Путь же мой пролегает по длинному и прямому, как пожарная кишка, коридору. Опасен этот коридор незнакомцу. Здесь, спрятанная в небольшом углублении, стоит старая музыкальная колонка. Сколько прелестных ножек поранилось об её коварно торчащий угол! Да и я, всякий раз ударяясь об её угол, кричу «Шит!» И клятвенно заверяю, что вынесу её в подвал. Вот и сегодня, больно ударившись лодыжкой, громко ругаюсь, и, бережно погладив ушибленное место, следую дальше.

Кря, кря, вжи, вжи, – вновь оживает в своей жалобной «песне» паркет. Мне, в отличие от него, жаловаться некому, хотя жизнь моя не слаще его. Да и кто жалуется по утрам – это лучше делать в обеденный перекур, или, скажем, вечером за кружкой пива. Утром варят кофе и спешат на службу. Я тоже варю кофе, хотя никуда и не спешу. Нет, я – не пенсионер, наоборот, мужчина в расцвете сил: у меня здоровое сердце и нормальный сахар. Вот только если чуть повышенная кислотность, но это от кофе. «С этим надо бороться. Кофе – камни!» – предупреждает меня знакомый доктор. Но я не хочу ни с чем бороться, тем более с кофе. Мне нравится хруст ломающихся под жерновами кофемолки овальных крепких, черных, как антрацит кофейных зерен. Нравится тонкий, дразнящий запах, вырвавшийся на волю кофейной души. Я с трепетным волнением жду трех пузырьков, свидетельствующих о кофейной готовности. В своем нетерпении я похож на добродетельного еврея, ожидающего трех первых звездочек, свидетельствующих ему о приходе субботы.

Почему я столь много уделяю внимания кофе – да потому, что один глоток этого горячего терпкого, горьковатого напитка плюс глубокая сигаретная затычка, и вас уже тянет поговорить. Кофе – не водочная болтливость. Кофе – задушевный разговор. С чего же его начать? Может быть сначала?

Изначально мы были разные. Я высокий, он маленький. Я блондин, он шатен. Он собирал марки, я, кажется, значки. Он был мягким, я ершистым. У него было непривлекательное имя Павел и безобразная фамилия Оладьев. Я же имел оригинальное имя Ромуальд и звучную фамилию Воскресенский. У меня были способные постоять за меня братья, а Павел был единственный сын у родителей. Я учился в старой с колоннами и английским уклоном школе. Он – в новой: приземистой, безликой и вечно отстающей. Он любил изучать жизнь по книгам, я же предпочитал «учить её не по учебникам». Павел обитал в желтом облупившемся доме, я – из крепких белых силикатных кирпичей в добротном коттедже. Между домами возвышался импровизированный из досок и кроватных сеток забор. Но, тем не менее, мы дружили. Нас пытались изолировать друг от друга, но как было это сделать, если нас тянуло друг к

другу, как разнозарядные частицы!

– Он тебе не друг, – говорили мне родители. У него дурная наследственность!

– Что ты прилип к нему как банный лист к анусу. Он же душный, как парилка! – поддерживали их братья.

Что я мог на это ответить! Что только с ним я ощущал гармонию?! Что он-часть недостающей во мне душевной детали?! Да я и слов таких в те времена не знал...

Перемахнув через забор, я убежал к нему домой. Там можно было делать то, что было строжайше запрещено дома: ходить в ботинках, лазить по холодильнику и курить. Там я был в недосыгаемости от воспитательного процесса. Никто не воспитывал и не жужжал на ухо: не трогай это, поставь на место то. Мать Павла вечно работала во вторую смену, отец приходил поздно и часто в таком состоянии, что не мог не только требовать, но и попросту связно говорить.

– Родя, быстро домой, – требовательно кричала через забор моя мать.

– Пока, – быстро прощался я. И, давя каблуками скрипучую лестницу, возвращался домой. Темнело, и вскоре наши дворы погружались в изредка нарушаемую протяжным гудком далекого поезда вязкую тишину ночи...

Общее проявилось в нас неожиданно и стойко: лет в 16 – 17, когда мы увлеклись роком. Мы обожали одних и тех же рок-музыкантов: гитаристов Д. Пейджа и Д. Хендрикса. Павел стал учиться на соло – гитаре, я также предпочел её другим инструментам. Вопрос собственной группы парил в воздухе. И здесь впервые в жизни у нас возник спор принципиального характера.

Он мягко – Стань на бас.

Я возмущенно – Почему я. Кто из нас Пол?

Он удивленно, – При чем тут Пол?

Я язвительно – Притом, что Пол Маккартни чешет на басу!

Создай мы собственную группу – я думаю, из неё, ей-Богу, мог бы выйти толк.

Впрочем, может и нет, но жизнь наша сложилась бы по-другому – точно.

Однако мы продолжали упираться и спорить.

Павел спокойно – Ты играешь слишком прямолинейно. Как если – бы художник рисовал одной краской. Нет оттенков! Послушай Хендрикса. Гитара Джимми разговаривает, плачет, ласкается, а твоя кричит...

Я раздраженно – Рок гитара – не скрипка Страдивари!

Павел негромко – Звук рождается из тишины...

Я разъяренно – Ты не музыкант, а апостол Павел, рассуждающий как композитор Бабаджанян...

Не создав своей команды, мы играли в чужих. Я поменял их массу, но найти себе подходящую из-за своего скверного характера и «неудобного» репертуара долго не мог.

– Играешь ты хорошо, – говорили мне участники. – Но не то, что надо.

– А что надо? – язвительно спрашивал я.

– То, что любит народ, и приносит бабки!

Мне бы прислушаться, подчиниться, да и играть то, что хотел народ и что приносило рубли. Но нет же, я вставал на дыбы и возмущенно кричал.

– Васьки! Я думал у вас рок – группа, а у вас оказывается оркестр А.

Мещерякова! Для вас принцип – деньги, а для меня – чистота жанра! «Червону

руту» играйте без меня!

Вскоре в городе не осталось ни одной команды, которая бы после упоминания моего имени, не говорила: – «С его характером надо работать в террариуме!» Я стал подумывать о смене увлечения, как неожиданно лучшая в городе рок группа «Колеса судьбы» объявила конкурс на вакантное место лидер-гитариста.

Попасть в «Колеса» – означало раскрыть ворота в невообразимый мир «superstars»! Ради этого можно было и поступиться принципами!

Прослушивание осуществлялось в маленькой, плотно заставленной барабанами, колонками, микрофонными стойками комнате. По полу бесчисленными «гадами» ползли иссиня-черные провода. Весь день витиеватые гитарные импровизации беспрепятственно носились по коридорам и лестницам ДК Общества глухих (там репетировали «Колеса»). Шум стоял невообразимый, думаю, от этого грохота местное общество пополнилось новыми членами! К 6 часам вечера из претендентов осталось двое: я и мой друг Павел Оладьев. Бесспорно, я играл лучше, ярче, напористей и техничней, а взяли его. Он играл хуже, но имел решившую в его пользу 100-ваттную, с вмонтированным усилителем, гитарную колонку! Он вообще в отличие от меня здорово разбирался во всех этих катодах, анодах, транзисторах и динамиках. Сказывалась наследственность потомственного электрика! От Павла вечно пахло канифолью, тогда как от меня одеколоном «Саша». Его часто видели в компании сомнительных личностей с местного радиозавода, меня же всякую минуту можно было найти среди хорошеньких шатенок.

– Я играл лучше, и ты – как друг – должен был это признать и честно уступить мне это место, – сказал я ему по пути к дому.

– У картишек нет братишек, – вульгарно ответил он.

– Отлично! – усмехнулся я. Только запомни, что следующий кон сдавать мне!

И я растасовал колоду нашей судьбы и раздал общий прикуп. Не доходя до дома, я втиснулся в заржавевшие двери телефонной будки, крепко сжал пластмассовой бельевой прищепкой ноздри. Набрал простой двузначный телефон дежурного по ГУВД и голосом А. Макаревича сделал заявление. «В субботу в 11 утра по адресу подворотня дома Щорса 12 состоится продажа дефицитных деталей похищенных с городского радиозавода...»

«Думай, прежде чем говорить! Вор должен сидеть в тюрьме!» – успокоил я себя, засыпая. Да я вообще-то и не волновался, между нами говоря, мало верилось в ментовскую оперативность.

Но, как в дурном водевиле, его взяли чисто и с поличным. Цена похищенного составила порядочную сумму. При «хорошем» прокуроре тюремный срок мог бы легко вытянуть на двухзначную цифру! В последний момент судебный приговор заменили военкоматовской повесткой. Все это произошло так стремительно, что Павел даже не успел вынести из ДК «глухих» свою колонку.

Прошло пару месяцев, я уже играл на его месте и на его колонке в «Колесах судьбы», как город потрясло известие. Погиб Павел Оладьев. Тело привезут через неделю. Я был в шоке, а тут еще на следующий день после этого известия пришло письмо. Видимо оно слишком долго шло, а может – это было письмо из другого мира? «Ты знаешь, – писал он мне. – Я тут подумал и решил, вернусь,

стану на бас. Мы с тобой такую команду сделаем!». Честное слово, я даже пытался вскрыть себе вены!  
На похоронах собрались все рок-музыканты города. Я же, сославшись на

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.